



Sp. et. M. 1793

Евгений Соловьев
Л. Н.Толстой. Его жизнь и
литературная деятельность
Серия «Жизнь замечательных людей»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=175423

Аннотация

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

ГЛАВА I. ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ	4
ГЛАВА II. РУССО И НЕХЛЮДОВЩИНА	24
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Евгений Соловьев

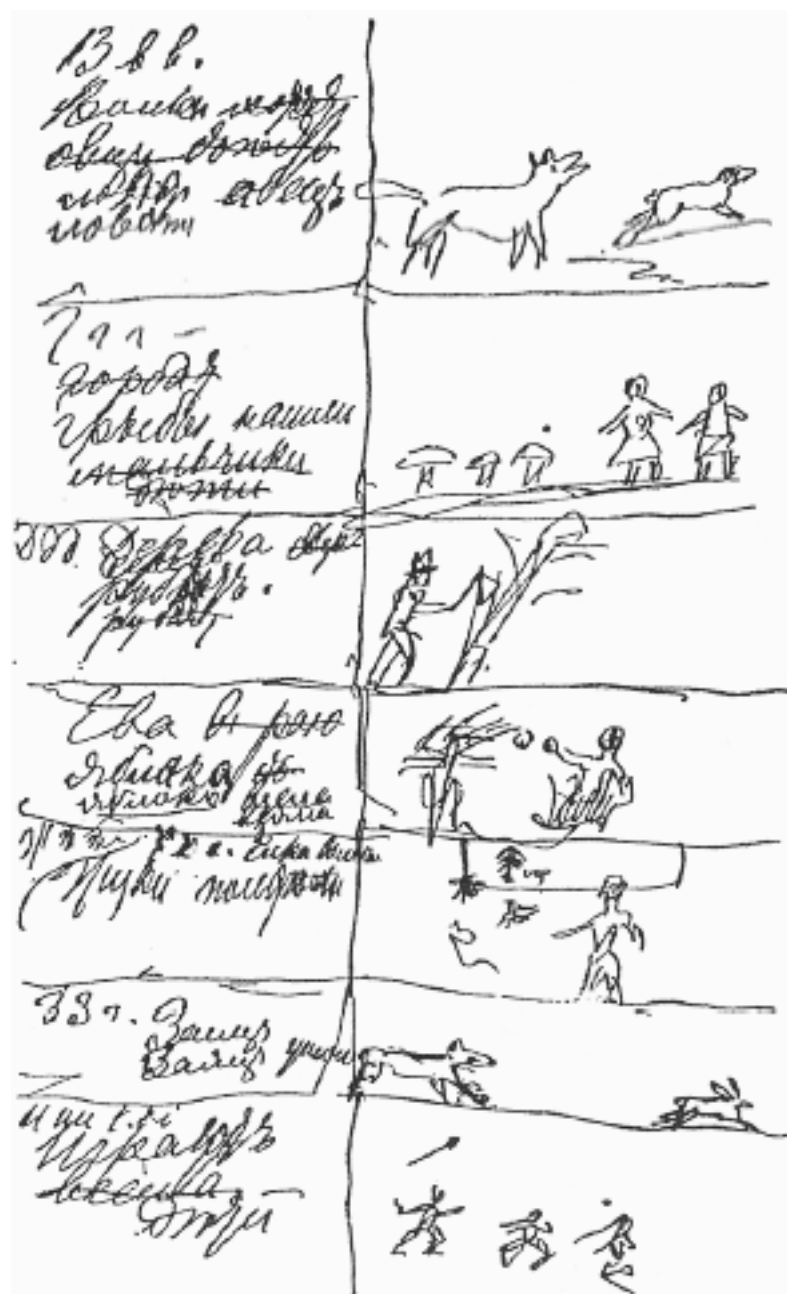
Лев Толстой. Его жизнь и литературная деятельность

*Биографический очерк Евгения Соловьева.
С портретом Толстого, гравированным в Петербурге К.
Адтом.*

ГЛАВА I. ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО И ЮНОСТЬ

В течение XIX века несколько лиц занимали первое место в европейской литературе и являлись общепризнанными главами умственного движения. Сначала такое место принадлежало Гете, к каждому слову которого жадно прислушивался весь образованный читающий мир; после Гете долгое время литературный престол оставался незанятым, пока среди общих рукоплесканий на него не воссел блестящий и нервный Виктор Гюго. По смерти Виктора Гюго самым видным представителем литературы и главой ее стал без всякого сомнения “великий писатель земли русской”, граф Лев Николаевич Толстой.

Графа Толстого знает теперь весь читающий мир на любой параллели и на любом меридиане. Иностранная критика, в лице самых блестящих своих представителей, таких, как Вогюэ, Цабель, Брандес, уделяет ему гораздо больше внимания, чем критика русская. Но я не знаю, есть ли в России человек, так или иначе причастный к литературной или философской критике, который не обострил бы своего пера о произведения графа Толстого. Не могу припомнить всех, кто писал на эту тему, но если назвать Д. Писарева, Анненкова, Григорьева, Михайловского, Скабичевского, Протопопова, профессора Козлова, Н. Страхова и т. д., – то и этих имен будет достаточно. Есть люди, избравшие своею специальностью пропаганду идей графа Толстого. Есть другие, преследующие эти идеи с ожесточением и так сказать по пятам, например профессор Казанского университета г-н Гусев. В период 1886–1889 годов и даже позже нельзя было взять в руки номера газеты или журнала, чтобы не натолкнуться на суждения о Толстом. Стоит припомнить, какой шум произвела “Крейцерова соната” – шум настолько всеобщий, что даже музыкальные издатели поторопились выпустить в свет эту забытую сонату Бетховена, хотя ни малейшего отношения ни к музыке, ни к Бетховену произведение Толстого не имело. Все выходящее из-под пера Толстого вы можете встретить в самых разнообразных слоях общества: его пьесы даются при дворе, его сказки, азбука и хрестоматия читаются в деревнях.



Записи и рисунки к “Азбуке”

Теперь мне приходится пользоваться девятым полным собранием сочинений Толстого. Это небывалый в России факт: Пушкин при жизни видел одно полное издание своих творений, Тургенев – три, Достоевский вышел в “посмертном”.

Не менее имени графа Толстого известно и название его родового поместья – Ясная Поляна. Кто не был или кому по крайней мере не хотелось бы там побывать? Заглянем и мы туда...

Расположенное в Крапивенском уезде Тульской губернии, в пятнадцати верстах от города Тулы, имение Ясная Поляна является местом, куда постоянно стекаются бесчисленные посетители и поклонники Л.Н. Толстого.

Ясная Поляна – родовое имение князей Волконских, перешедшее теперь к роду графов Толстых, – внешним своим видом ничем не отличается от обыкновенных барских поместий

средней полосы России, и если имя его стало общеизвестным, то лишь потому, что здесь родился, провел свое детство и почти безвыездно всю вторую половину своей жизни Лев Николаевич Толстой. “Война и мир”, “Анна Каренина” и все многочисленные произведения последних лет: “Исповедь”, “В чем моя вера”, “Смерть Ивана Ильича”, “Крейцера соната” и т. д. — были созданы в Ясной Поляне. Как Ферней Вольтера или Коппенгаген Сталь или Мекка Магомета, оно известно всему миру.

Ясная Поляна, ее веселое и живописное положение, окружающий ее огромный казенный лес Засека, сама усадьба с вековыми липовыми аллеями, посаженными прадедом князем Волконским, четыре пруда и вечно запущенный барский сад, обнесенный валом, описывались десятки раз как русскими, так и иностранцами. Про две круглые кирпичные башни, расположенные в замке вала, возле которых когда-то, в начале века, постоянно дежурил часовой, свидетельствуя своим присутствием о знатности помещика, генерала времен Павла I, — знают одинаково и у нас, и в Европе, и в Америке. Теперь эти старые кирпичные башни полуразрушены, обросли мхом, а наследник гордого генерала и князя Волконского, в простой рабочей блузе синего цвета и высоких сапогах, беседует со своими посетителями и поклонниками о жизни по учению Христа и о тайне смерти, “отстранить которую от себя не может человек никакими грозными каменными башнями, никакими вечно дежурящими часовыми”.

В Ясной Поляне возвышался когда-то почтенный барский дом с бесконечной анфиладой зал и комнат, где старое барство, окруженное покорною толпой холопов, тешило свою гордость громадными доходами и безмерною властью над крепостными подданными. Почтенный барский дом сгорел уже давно, и вся усадьба состоит теперь из двух флигелей: в одном живет граф Толстой со своим семейством, очень многочисленным, а другой предназначен для паломников Ясной Поляны и гостей.

Флигель, занятый семейством графа Толстого и им самим, — двухэтажный, очень простой архитектуры и без всяких украшений снаружи. Внизу находятся кабинет графа, его библиотека и спальня. Нигде и ни в чем не заметно даже следов роскоши и того огромного миллионного состояния, которым обладает хозяин. Напротив, обстановка помещения поражает своей простотой, и лишь портреты предков, развешанные в зале верхнего этажа, говорят еще, что посетитель находится в гнезде старинного барства.

Кабинет самого Л. Н. Толстого напоминает комнату прилежного и небогатого студента. Стол, несколько стульев, диван, этажерка составляют всю мебель. В углу стоит бюст давно умершего старшего брата Льва Николаевича, Николая Толстого; по стенам развешано несколько картин. Между этими последними есть портрет Шопенгауэра и фотографически снятая в 1856 году группа русских писателей: Толстой, Григорович, Гончаров, Тургенев, Дружинин и Островский. Л. Н. Толстой изображен в военном мундире, со скрещенными на груди руками; во всей его гордо выпрямившейся фигуре, а особенно в небрежном взгляде вдумчивых глаз есть, как нам показалось, что-то лермонтовское. Группа любопытна: писатели земли русской не часто бывают вместе, еще реже живут дружно между собой; и правда — через немного лет Гончаров рассорился с Тургеневым, Тургенев хотел драться на дуэли с Толстым... Но тогда еще все обстояло мирно и дружелюбно.

Библиотека графа богата и включает в себе сочинения на шести или семи языках, которыми Л. Толстой свободно владеет. Здесь можно найти всех классиков русской литературы и массу сочинений по богословию. Наперекор духу конца нашего века, Тертуллиан и Василий Великий заменяют собой Дарвина и Маркса, а холодные, огромные книги Спенсера уступили свое место толкованиям Евангелия.

Сам хозяин и кабинета, и библиотеки, граф Толстой, свободно допускает к себе каждого, кто вздумает прийти или приехать к нему. Он никогда не отказывается от разговора и поучения, и для всякого у него есть если не ласковое слово утешения, то, по крайней мере,

всегда искреннее и правдивое слово. Слишком многочисленные посетители быть может и утомляют его, но граф не жалуется. Не жалуется он и на то, что многие из этих посетителей вкривь и вкось рассказывают о своих с ним беседах в различных журналах и газетах. И назойливость, и ложь исчезают как незначительная мутная струя в море обожания и восторга, окружающем графа Толстого. Это обожание и восторг растут изо дня в день, и наперекор общему правилу растут по мере того, как мы ближе знакомимся с жизнью писателя и даже семейной его обстановкой. В этой жизни, как кажется, нет уже более тайн: сам граф Толстой не считает нужным скрывать ничего, что касается его лично. Увлечения и ошибки своей молодости, свои душевные муки, едва не доведшие его до самоубийства, он подробно и страстно описал сам в своих произведениях. Его поклонники, как Левенфельд, родственники, как Берс, рассказывают нам об обстановке его жизни, которую видели собственными глазами. “У меня ни от кого на свете нет никаких тайн! Пусть все знают, что я делаю, если хотят”, – часто говорил Л. Толстой.

Эти его слова, между прочим, и позволяют нам приступить к его биографии.

Граф Лев Николаевич Толстой родился 28 августа 1828 года, следовательно, теперь он перешел уже тот предельный возраст, который преодолевали лишь очень немногие русские писатели, например Державин, и однако ни его физические силы, ни творческий гений не ослабли заметно: достаточно вспомнить, что всего пять лет тому назад была создана “Крейцера соната”, многие сцены которой могут сравниться с лучшими сценами “Войны и мира”.

Предком Л. Н. Толстого был современник и друг Петра I, пожалованный за свои заслуги и, между прочим, за измену царевне Софии, Петр Андреевич Толстой, потомок выходца из Пруссии, носившего прозвание Dick, что по-русски и значит “толстый”. Отсюда и фамилия – Толстые. Граф Петр Андреевич занимал важный дипломатический пост – был послом в Константинополе, не раз сиживал в Семибашенном замке в случае разногласий султана и императора и по смерти завешал своему роду хорошее состояние и легкую карьеру при дворе.

Браки Толстых всегда были аристократические, без малейшего признака *mèsaliance'a*. Например, мать Льва Николаевича – княжна Волконская, бабушка – княжна Горчакова, бабушка по матери – княжна Трубецкая и т. д. Волконские, Горчаковы – прямые потомки Рюрика и владетельных Рюриковичей. Сам граф Лев Николаевич внешнею своей сильно напоминает своего деда князя Николая Андреевича Волконского (в “Войне и мире” Болконского), хотя значительно крупнее его фигурой. “У обоих открытый и высокий лоб с творческими шишками; музыкальные шишки, далеко выдающиеся вперед, покрыты густыми отвисшими бровями, из-под которых точно проникают в чужую душу небольшие и глубоко сидящие серые глаза”. Значит, вполне прав был граф Толстой, когда впоследствии, до периода вероучения, находил источник гордости своей в том, что он – “чистый аристократ”. Кровь Толстых на самом деле в течение почти двух столетий была чиста от всякой примеси каких-нибудь разночинных элементов. Портреты, украшающие залу яснополянского дома, принадлежат все без исключения титулованным особам, князьям и графам, в звездах и лентах, генералам и тайным советникам. Родовое древо князя Болконского поддерживает святой Михаил, князь Черниговский, погибший когда-то смертью мученика в Орде. Традиции, унаследованные Толстым, – это традиции старого русского барства, – обстоятельство, как мы это ниже увидим, далеко не лишнее интереса и своеобразного значения. Это “старое барство”, при Петре Великом переименованное из бояр, стольников, окольничих и т. д. в советники различных категорий, стригшее себе волосы, брившее бороды, одевавшееся в немецкое платье, ездившее в заморские страны, – мечтало об “ограждении прав своих” и, быть может, о чем-нибудь даже большем при Петре II и Иоанне VI, вынесло жестокую ферулу Бирона при Анне Иоанновне, расплатившись полностью за свои конституционные мечтания; достигло небывалого расцвета при дворе Екатерины; гордо замкнулось в своих усадь-

бах при Павле Петровиче; стояло впереди русского общества при Александре I, впервые проникшись тут духом народолюбия и западными просветительными идеями, и оказалось почти не у дел в царствование императора Николая. Умственный расцвет этого старого барства – первая четверть нашего века – эпоха, к которой всегда с особенной любовью обращался граф Толстой, почерпнувший в ней содержание своей гениальной эпопеи “Война и мир” и начатых, но неоконченных “Декабристов”. Старое барство беспокойно волновалось тогда, искало правды и обновления в масонстве, мистицизме, “деятельной добродетели”, составляло глухую оппозицию Аракчееву, Магницким и Руничам и после безумных по полному отсутствию какой бы то ни было программы декабрьских дней опять затолкалось и заинтриговало на дорожках военной или придворной карьеры. Своеобразная сословная гордость отличала это старое русское барство, и для лучших его представителей мужик и народ были несомненно всегда ближе, родственнее и понятнее, чем разночинец, торгаш или иной какой-нибудь представитель третьего сословия. Свою антипатию к этим новым элементам русского общества, а вместе с тем и народолюбие, старое барство стало выказывать уже со времен Радищева, и не раз выказывал ее, как мы увидим ниже, и граф Л.Н. Толстой. Отец графа Л.Н. Толстого, подполковник Павлоградского гусарского полка, Николай Ильич Толстой участвовал в кампании 1812 и 1813 годов. Видный, пленительный мужчина, пользовавшийся большим успехом в свете, он получил от отца своего, графа Ильи Андреевича, совершенно расстроенное состояние. Чтобы не бросить тени на память отца, он, как Николай Ростов в “Войне и мире”, удовлетворил всех кредиторов и остался ни с чем. На руках его была старая мать, урожденная княжна Горчакова, привыкшая, разумеется, к роскошной жизни и не думающая о завтрашнем дне, и родственница Т.А. Ергольская, впоследствии воспитавшая Льва Николаевича и жившая с ним до самой смерти. На скромное жалованье офицера Николай Ильич существовать не мог, и родственники его для поправления обстоятельств прибегли к обычному средству старого барства и женили его на немолодой, некрасивой княжне Марье Ивановне Волконской, единственной наследнице одного из богатейших русских вельмож. Эта семейная история послужила впоследствии канвой для другой истории, с такой поэтической прелестью рассказанной в “Войне и мире”. Разорение семейства Ростовых, расчет с кредиторами, выход Николая Ростова в отставку, его женитьба на некрасивой княжне Волконской известны всякому русскому читателю. Но действительность преломилась сквозь призму поэзии, и, идеализируя предания своей семьи и старого барства вообще, граф Толстой ввел целую любовную эпопею между Николаем Ростовым и Марьей Волконской, почему на страницах романа брак является устроенным по любви, а не по расчету. Каков бы, однако, он ни был, брак оказался вполне пристойным. Родители Льва Николаевича жили преимущественно в Ясной Поляне, и семейная жизнь их протекала счастливо и безмятежно. Графиня Толстая, мать Льва Николаевича, умерла в 1831 году, когда ее сыну было всего три года с небольшим. Шесть лет спустя сошел в могилу и граф Николай Ильич, и будущий великий писатель девяти лет от роду остался круглым сиротой.

Что были за люди родители графа Толстого, мы знаем очень мало. Портреты их в “Войне и мире” (Николай Ростов и Марья Волконская) очевидно идеализированы, чтобы можно было положиться на них как на документ. В романе Николай Ростов – прекрасный хозяин, влюбленный в свою жену, в духовность и нежность ее натуры, – человек недалекий, недолюбливающий рассуждений и не умеющий рассуждать, – прекрасный офицер и завидный служака, успокоившийся на том, что для рассуждений поставлены другие, высшие его, – и вместе с тем честная, открытая, непосредственная натура, обаяние которой – в ее правдивости, хотя и узкой. Такой же характер и у Вронского. В этих натурах нет разума, но есть рассудительность; нет героизма, но есть мужество; нет справедливости, но есть честь и честность. Они – исполнители, и самостоятельное мышление для них заменяют приказания и указания. Что именно таким не был отец Льва Николаевича, это можно утверждать навер-

ное, и одинаково наверное можно утверждать, что во многом портрет и подлинник схожи между собой. Граф Николай Ильич во всяком случае не был творческой натурой, что никак нельзя сказать о его жене. Про эту последнюю рассказывают, что “когда она, в молодости, бывала на балах, то собирала вокруг себя в уборной молодых девушек и занимала их ею же выдуманными сказками. Напрасно ждали кавалеры в большой зале своих дам: те не могли оторваться от сказок княжны Волконской”. В “Войне и мире” княжна Марья, некрасивая и слезливая, очерчена, однако, такими нежными штрихами, что вся ее фигура является сотканной из тончайших нитей и производит впечатление чего-то неземного, высокого и истинно-христианского, несмотря на суеверие и пристрастие к странницам и легендам. Болезненная духовность натуры, мистически настроенное воображение, жажда самоотречения и самопожертвования, чудная приветливость и мягкость характера, порыв к небу и вечное стремление уходить со своими мечтами в мир, где нет болезни и печали, – всем этим граф Толстой наделил тот образ, в котором он хотел изобразить свою мать. И вообще всякая героиня, при создании которой граф Толстой жил нежными воспоминаниями о своей безвременно умершей матери, является у него человеком не от мира сего, натурой мечтательной и с экзальтированным воображением, про каких говорят: не “умирают они, а улетают на небо”.

По смерти матери воспитанием детей – четырех мальчиков и одной девочки, совсем крохотной, – занялась дальняя родственница Толстых, Ергольская. В 1837 году вся семья переехала из Ясной Поляны в Москву, так как старший брат Льва Николаевича, Николай, должен был готовиться в университет; но летом того же года скоропостижно умер граф Николай Ильич, оставив после себя пять человек детей и очень расстроенное состояние. Для сокращения расходов часть семьи с Ергольской вернулась опять в Ясную Поляну. Детей, разумеется, учили, и учителями были и гувернеры-немцы, один из которых достиг бессмертия под именем Карла Ивановича в “Отрочестве”, и русские семинаристы в тиковых сюртуках, с ударением на “о”.

По свидетельству покойной тетки Льва Николаевича, П.И. Юшковой, “в детстве он был очень шаловлив, а отроком отличался *странностью*, а иногда *неожиданностью* поступков, живостью характера и прекрасным сердцем” (Берс).

П.И. Юшкова рассказывала Берсу, что “однажды в пути на почтовых лошадях, когда все уже уселись в экипажи, стали искать Льва Николаевича, который был тогда мальчиком. В это время голова его высунулась в окне станции со словами: “Ma tante, я сейчас выхожу!” Половина головы его была обстрижена. Фантазия обстричь голову во время короткой остановки, по-видимому, не объяснялась никакою надобностью.

Сам Лев Николаевич рассказывал при Берсе в семейном кругу, что в детстве, лет семи или восьми, он возымел страстное желание *полетать по воздуху*. Он вообразил, что это вполне возможно, если сесть на корточки и обнять руками свои колени; при этом, чем сильнее сжимать колени, тем выше можно полететь. Мысль эта долго не давала ему покоя, и наконец он решился привести ее в исполнение. Он заперся в классной комнате, влез на окно и в точности исполнил все задуманное. Он упал из окна на землю с высоты около двух с половиной саженей, отшиб себе ноги и не мог встать, чем немало напугал домашних. Таковы немногие – (слишком даже!) – подлинные факты из детства великого писателя.

Это время уже послужило Толстому темой для его первого произведения “Детство”, напечатанного в “Современнике” в 1852 году. Разумеется, как во всем, что вышло из-под пера Толстого, так и здесь, правда и вымысел переплетаются; но можно заметить, что в художественной фантазии Толстого есть одна характерная черта: все свои усилия она сосредоточивает не на том, чтобы отделиться от действительности, а, напротив, чтобы осветить и одухотворить ее. В большинстве произведений Толстого героем является он сам, его собственное душевное настроение, несомненно им пережитое и переживуемое. На эти про-

изведения мы смело можем положиться как на автобиографические документы из области духовной жизни писателя.

Герой “Детства”, Николенька Иртеньев, в рассказе, который ведется от его лица, знакомит нас со всеми своими детскими впечатлениями и лицами, его окружавшими. Мать и отец, немец-гувернер Карл Иванович Мауэр, брат Володя и сестра Любочка, нянька Наталья Савишна, юродивый Гриша – все эти люди описаны с удивительной художественностью, и их разговоры, развлечения, поступки переносят нас в давно минувшую эпоху старого барства, его привольного, а подчас и разнузданного житья. Перед нами страдальца мать, мистическая и экзальтированная натура, семейная жизнь, где соблюдены все приличия, где внешний лоск закрыл зло и неправду, где все зиждется на принципах порядочного комильфотного существования, беспечного и не одухотворенного ничем высоким.

Сам Николенька, наследовавший от матери свою впечатлительность, свою склонность к мечтанию, свою неуравновешенную натуру, полностью обрисован в первых же сценах.

Он просыпается с “расстроенными нервами” и чувствует себя до глубины души обиженным тем обстоятельством, что его добродушнейший гувернер Карл Иванович неловко убил хлопнушкой муху над его кроваткой. За чувством обиды как-то сразу следует раскаяние, а затем слезы. На вопрос, почему он плачет, мальчик сказал, что “плачет оттого, что видел дурной сон: будто татапа умерла, и ее несут хоронить”. Все это он выдумал, но когда Карл Иванович, тронутый рассказом, стал утешать и успокаивать его, ему показалось, что он точно видел страшный сон, и “слезы полились уже от другой причины”. Но еще несколько минут, и мрачное настроение сменилось беспричинной веселостью и шаловливостью. За каких-нибудь полчаса и гнев, и обиженность, и раскаяние, и слезы, и веселье.

“Мальчик в классной. Отсюда из окон направо видна часть террасы, на которой сживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину и смутно слышишь оттуда говор и смех, – так делается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю? Досада перейдет в грусть: Бог знает отчего и о чем так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки”.

Уже по этим и им подобным сценам мы видим перед собой даровитую, неуравновешенную натуру, с удивительно чуткими нервами, себялюбивую и увлекающуюся, не умеющую ни на йоту владеть собой и сосредоточиться на том, что нужно и приказано. Неожиданные резкие переходы от одного к другому, преобладание чувствительности, застенчивость, с одной стороны, желание всем нравиться и стать на первом плане, с другой, – готовят читателя к будущему, где ребенка ждет столько ошибок, увлечений, разочарований, столько мучительных минут раскаяния и сокрушения о грехах своих.

Мучительный разлад между мечтою и действительностью, то есть тот самый, который впоследствии так тяжело дал себя почувствовать Толстому, начался очень рано уже в детские годы: мальчику хочется сидеть на балконе, с большими, а вместо этого его заставляют в классной заниматься диалогами и диктантами; он хочет всем нравиться, быть находчивым, выдержанным – и вместе с тем чувствует свою полную неприспособленность к этому; его мучает даже некрасивое лицо, непокорные вихрастые волосы, широкий нос, маленькие серые глаза. Спасение от всех этих бедствий он ищет в мечте, которой предается до одурения, до полного умственного наркоза. Он еще не знает страдания, но слишком уже хорошо знаком с грустью и даже любит грустить, любит уходить в созерцание и смакование

собственного своего подчас выдуманного страдания, и вы чувствуете, как будущий князь Нехлюдов – этот ненужный и неумелый, хотя и порывисто благородный бариц, растет в обстановке, где родился и рос Николенька Иртеньев.

В 1840 году умерла опекунша сирот Толстых, графиня Остен-Сакен, и опека перешла к их тетке П.И. Юшковой, жившей с мужем в Казани, куда и переехала вся семья Толстых. В Казань же перешел из Московского университета и старший брат Николай.

П.И. Юшкова, богатая знатная дама, принимала в своей гостиной все “лучшее общество”, и в ее доме уже не было и помину о простой яснополянской жизни; напротив, все – от обихода до взглядов – свидетельствовало о родовитости, богатстве, связях. Здесь, как мы скоро увидим, полностью расцвели и распустились комильфотные стремления Льва Николаевича. Все этому способствовало, и даже атмосфера юшковского дома, казалось, была проникнута заботой о том, чтобы все было на лучший лад. Сама Юшкова мечтала для своих титулованных племянников о карьере дипломатов или флигель-адъютантов. Ни в чем другом не видела она смысла и счастья, как в густых эполетах, больших доходах, полной независимости. Сохранилось и ее изречение: *rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut*, то есть ничто так не полезно для молодого человека, как связь с порядочной женщиной. Этой связи она, разумеется, желала и для Льва Николаевича.

С переездом в Казань закончилось и детство Толстого. Почти неуловимые и неопределимые штрихи отделяют эту первую пору жизни человеческой от второй – отрочества, и чтобы охарактеризовать эти штрихи, обратимся опять к духовной автобиографии нашего писателя.

“Случалось ли вам, читатель, – спрашивает он, – в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другою, неизвестной еще стороной. Такого рода моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которого я и считаю начало моего отрочества.

Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего общего не имеющих с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это, но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал.

Когда я глядел на деревни и города, которые мы проезжали, в которых в каждом доме жило по крайней мере такое же семейство, как наше; на женщин, детей, которые с минутным любопытством смотрели на экипаж и навсегда исчезали из глаз; на лавочников, мужиков, которые не только не кланялись нам, но не удостаивали нас даже взглядом, – мне в первый раз пришел в голову вопрос: что же их может занимать, ежели они нисколько не заботятся о нас? Из этого вопроса возникли другие: как и чем они живут, как воспитывают своих детей, учат ли их, пускают ли играть, как наказывают?...

Между девочками и нами появилась какая-то невидимая преграда: у них и у нас были уже свои секреты, как будто они гордились перед нами своими юбками, которые становились длиннее, а мы своими панталонами в рейтузах”.

Кончилось детство – эта счастливая невозвратимая пора. Ребенок, все время живший только собой и для себя, вдруг неожиданно рассмотрел перед глазами обширный Божий мир, с миллионами таких же людей, как и он сам, – людей, погруженных в собственные думы, радости, печали. Он не осознал, да и не мог еще осознать своего места в этом обширном Божьем мире: он не сознавал, да и не мог еще сознавать тех отношений, в которые он вступает и должен будет вступить с этими миллионами ему подобных, но он в минуту прозрения почувствовал себя частицей чего-то огромного, сложного, необъятного. Рамки детского эгоизма раздвинулись, и кончилось детство. А как жаль, что кончилось оно.

“После молитвы, – пишет Толстой, – завернешься бывало в одеяльце; на душе легко, светло и отрадно; одни мечты гонят другие, – но о чем они? Они неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на светлое счастье. Вспомнишь бывало о Карле Ивановиче и его горькой участи – единственном человеке, которого я знал несчастливым, – и так жалко станет, так полюбишь его, что слезы потекут из глаз, и думаешь: дай Бог ему счастья, дай мне возможность помочь ему, облегчить его горе; я всем готов для него пожертвовать... Потом любимую фарфоровую игрушку – зайчика или собачку – уткнешь в угол пуховой подушки и любишь, как хорошо, тепло и уютно ей там лежать. Еще помолишься о том, чтобы Бог дал счастья всем, чтобы все были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бок, мысли и мечты перепутаются, смешаются, и уснешь тихо, спокойно, еще с мокрым от слез лицом”...

Кончилось детство.

“Вернутся ли когда-нибудь, – продолжал Толстой, – та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели – невинная веселость и беспредельная потребность любви – были единственными побуждениями в жизни?...”

Где те горячие молитвы, где лучший дар – те чистые слезы умиления? Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слезы и навевал сладкие грезы неиспорченному детскому воображению.

Неужели жизнь оставила такие тяжелые следы в моем сердце, что навеки отошли от меня слезы и восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?”

Но и одни воспоминания, особенно такие чистые, светлые, святые, которые сохранил Толстой на всю жизнь, ужасно много значат. У многих ли остались они? Да и этих немногих с каждым днем становится все меньше и меньше!

В Казани у Льва Николаевича был учитель и гувернер St. Thomas, описанный им впоследствии под именем m-г Жерома. Этот-то St. Thomas и подготовил его к поступлению в университет.

В университет в то время молодые баричи поступали очень рано, кто 14-ти, 15-ти, кто 16-ти лет, – поступали не из гимназий, как теперь, а прямо из классной помещичьего дома, где большинство получало, разумеется, подготовку очень сомнительную. Впрочем, и в стенах высшего учебного заведения наука не находилась в особенной чести, и смело можно спросить себя: была ли она на самом деле? Разумеется, читались лекции и внешний вид научности соблюдался; но далее, глубже не забирались ни профессора, ни студенты. Громкие названия факультетов, вроде морально-политического, и предметов, как, например, эстетика, не должны смущать читателя: хороших профессоров, особенно в провинции, или совсем не было, или они должны были молчать, ограничиваясь чтением записок, тщательно рассмотренных, проредактированных, цензурированных и прочее. Известно изречение императора Николая Павловича: “И архиереям нельзя давать всякую книгу”; что же после этого могли слышать студенты? Буря, пронесшаяся над русскими университетами во времена Магницкого и Рунича, когда анатомию преподавали не по скелету, а по полотенцу, а в карцере для провинившихся слушателей морально-политических и иных наук висела картина Страшного суда, была еще в памяти у всех; готовилась и новая буря, которой немного лет спустя предстояло разразиться над лучшим из университетов той эпохи – Московским. Наука, повторяю, в чести не была, да, в сущности, никто и не чувствовал в ней ни малейшей надобности: государство поддерживало и содержало ее совсем не потому, что ему нужны были ученые юристы и знатоки римских древностей, а просто чтобы не ударить в грязь лицом перед Европой и не разрушать дела, начало которому было положено великой Екатериной. Интеллигенция только что возникала в то время, а общества не было совершенно. Контингент студентов пополнялся главным образом из дворян и помещичьих детей. Странно

даже спрашивать себя, зачем нужна была наука владельцу стольких-то и стольких-то душ?... Правда, университетский диплом давал известные привилегии по службе и право на штаб-офицерский чин, но кто же не знает, что привилегии университетского диплома ничто и даже меньше того сравнительно с привилегиями рождения, богатства, связей. Поэтому-то атмосфера ненужности, одинаково понятной и для профессоров, и для студентов, наполняла собою университетские аудитории и кабинеты; не слышалось живого слова, не видно было горячего увлечения, и чем-то затхлым и скучным отзываются и наука, и лекции того времени. Даже даровитые юноши, обладавшие жаждой познания и рвавшиеся к источнику истины, быстро охладевали, переступив университетский порог. Уже вступительный экзамен, на котором так много значили протекция, знакомства, взятка, нарушал невинность мечты, и несколько выслушанных лекций вызывали сначала недоумение, потом недовольство и наконец отвращение. Оставался, следовательно, синий воротник студенческого сюртука, шпага гражданского ведомства и возможность считать себя взрослым. Большинство, разумеется, вполне этим удовлетворялось тогда, как удовлетворяется оно и в настоящее время.

“Бурна была, – говорит профессор Загоскин, – жизнь казанского студенчества 40-х и 50-х годов. Хранящиеся в архиве местного университета дела по инспекции и канцелярии попечителя представляют собою целые тома производства по поводу зазорного поведения студентов и дают длинную хронику скандалов и безобразий более или менее публичного характера, бороться с которыми были бессильны все строгости университетской инспекции того времени. О гомерических кутежах и попойках мы уже не говорим; они носили положительно хронический характер; весь избыток жизни уходил на кутежи. Бывали, конечно, примеры и студентов-аристократов, которые не чужды были безобразий довольно-таки колоссального характера, какие учинял, например, симбирский уроженец, князь Ч-ев, развлекавшийся тем, что, вооружившись духовым ружьем, с чердака обстреливал и дер жал в постоянном осадном положении всю Поперечно-Красную улицу, – не говоря уже о целом ряде других безобразий, которыми ознаменовал этот князек свое пребывание в университете. Но говоря вообще, студенты-аристократы чуждались бурного разгула казанских буршей старого времени и образовывали свою особую группу, впадая при этом в другую крайность – увлечение светскою жизнью, наслаждениями более тонкого и комильфотного разврата... Балы, вечера, пикники, спектакли, живые картины (в которых, кстати сказать, с большим успехом принимал участие и Л.Н. Толстой), рысаки, женщины составляли альфу и омегу этих самодовольных барчат, которые поступали в университет, сами не зная для чего. Юридический факультет особенно изобиловал юношами этой последней категории”.

Лучшим из факультетов в Казани был, по-видимому, математический, где подвизался в то время Лобачевский, но Л.Н. Толстой несколько неожиданно поступил на факультет восточных языков. Случилось это в 1843 году, когда будущему писателю исполнилось всего 15 лет. С этого времени граф Толстой считает начало своей юности: где же *отрочество*?

Представив себе обстановку барского юшковского дома и плоский идеал комильфотного существования, при котором связь с порядочной женщиной считается лучшим средством, чтобы “оформить” молодого человека, читатель легко поймет, как с внешней стороны жилось графу Толстому за эти три года (1840–1843). Важных, определяющих событий никаких; француз-гувернер, сменивший немца-дядьку, обучает манерам и языкам; есть еще каждый день уроки русского языка, истории, математики, которые даются неблагообразными семинаристами, с ударением на “о”; есть балы, праздные прогулки и катанья.

“Весело, очень весело жили в Казани в ту дореформенную пору, – продолжает профессор Загоскин, – конечно, в высших сферах общества, дававших главный колорит местной общественности. Широкий размах казанской великосветской жизни 40-х и 50-х годов носил характер последней агонии крепостного строя старой России и давал себя особенно

сильно чувствовать по зимам. Казань служила центром, к которому тяготело все среднее Поволжье и Прикамье, являясь по отношению к ним маленькой столицей. Сюда съезжались на зиму богатые помещичьи семьи, с тем, чтобы повеселиться здесь после летней деревенской жизни, сделать заказы, обшиться и приодеться, отдать в ученье подрастающих ребят, а при случае подыскать приличную партию и дочкам своим... Гостеприимство было широкое, барское, которого теперь нет уже и в помине. Холостому человеку, например, можно было вовсе не иметь у себя стола, то есть существовало по крайней мере 20–30 домов, куда ежедневно сходились обедать много лиц без всякого приглашения. День распределялся так: вскоре после окончания обеда, выпив кофе и поболтав о всякой всячине, все отправлялись по домам спать, что составляло общее обыкновение. Вечером снова ехали куда-нибудь на раут или бал, всегда заканчивавшийся лукулловским ужином; такие торжества затягивались далеко за полночь, и нередко гостям приходилось возвращаться домой в 5–6 часов утра. На следующий день вставали часов в 12, чтобы начать проделывать то же самое... Да, весело жили наши деды, но в то же время и пусто до тошноты...”

По внешности казанский период самый бедный, по внутреннему своему содержанию – один из самых богатых. Нечего и говорить, что излишняя восприимчивость и склонность к анализу не только не исчезли, но теперь-то и распускаются полностью. Неожиданные эмоции, почти произвольная смена настроений портят мальчику жизнь; наркоз мечты является по-прежнему главным источником болезненного наслаждения: этим ядом граф Толстой (или Николенька Иртеньев) продолжает отравлять себя при всяком удобном и неудобном случае. Беспричинные слезы и беспричинное раздражение говорят о расстроенных, слишком чувствительных нервах, полученных в наследство от утомленных предков. Застенчивость заставляет пряпывать глубоко-глубоко в душу и свою доброту, и жажду любви, отчасти, как прежде, чистой и светлой, отчасти и новой, в которой есть уже влечение к женщине.

Николенька Иртеньев целые часы проводит на площадке “без всякой мысли, с напряженным вниманием прислушиваясь к малейшим движениям, происходящим наверху”, или, “притаившись за дверью, с тяжелым чувством зависти и ревности слушает возню в девичьей” и обсуждает вопрос: “каково было бы его положение, ежели бы он пришел наверх и так же, как брат, захотел бы поцеловать горничную Машу”. Но решиться на это он не смеет и попадает подчас в довольно глупое положение, слыша, как Маша говорит брату: “Вот наказание! что же вы, в самом деле, пристали ко мне... идите отсюда, шалун эдакий... Отчего Николай Петрович никогда не заходит сюда и не дурачится”... А бедный Николай Петрович сидит в эту минуту под лестницей и все на свете готов отдать, чтобы только быть на месте шалуна брата”.

Широкий нос, некрасивое лицо мучают по-прежнему и даже сильнее прежнего.

“Я был стыдлив от природы, – рассказывает Толстой, – но стыдливость моя еще увеличилась убеждением в моей уродливости. А я убежден, что ничто не имеет такого разительного влияния на направление человека, как наружность его, и не столько самая наружность, сколько убеждение в привлекательности или непривлекательности ее... Я был слишком самолюбив, чтобы привыкнуть к своему положению, утешался, как лисица, уверяя себя, что виноград еще зелен, то есть старался презирать все удовольствия, доставляемые приятной наружностью, которым я от души завидовал, и напрягал все силы своего ума и воображения, чтобы находить наслаждение в гордом одиночестве”...

Перед нами опять мотивы детства, но обострившиеся, более мучительные, оттого что более себялюбивые... Громадный запас чувствительности, как жидкость из переполненной посуды, при малейшем толчке выливается через край. Настроение деспотически владеет мальчиком, заставляя его проделывать самые дикие и несообразные вещи. учится он не то чтобы плохо, а беспорядочно, не зная середины, то увлекаясь, то чувствуя полнейшее

отвращение. Он очевидно болен, и болен прежде всего богатством своей неуравновешенной, слишком нервной натуры.

На него находит порою странность:

“Вспоминая свое отрочество, – пишет он, – и особенно то состояние духа, в котором я находился в один несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самого ужасного преступления, без цели, без желания вредить, но так... из любопытства, из бессознательной потребности деятельности... Бывают минуты, когда будущее представляется человеку в столь мрачном свете, что он боится останавливать на нем свои умственные взоры, прекращает в себе совершенно деятельность ума и старается убедить себя, что будущего не будет и прошедшего не было. В *такие минуты*, когда мысль не обсуживает вперед каждого определения воли, а единственными пружинами жизни остаются плотские инстинкты, я понимаю, что ребенок, по неопытности особенно склонный к такому состоянию, без малейшего колебания и страха, с улыбкой любопытства раскладывает и раздувает огонь под собственным домом, в котором спят его братья, отец, мать, которых он нежно любит”...

В *такие минуты* мальчик начинает бить, что попадет под руку, дерется со своим гувернером и совершает один дикий поступок за другим, в состоянии полной невменяемости. Он и сам не знает, что, как и зачем, и чувствует лишь обиду и страдание.

– Оставьте меня, – кричит он сквозь слезы, – никто вы не любите меня, не понимаете, как я несчастлив! Все вы гадки, отвратительны...

Матери, которая поняла бы ребенка в эти минуты и одна могла бы успокоить его своим ласковым любящим словом, – нет, и бедное обиженное маленькое сердце ищет утешения, или, лучше, забвения, в фантастических мечтах:

“То мне приходит в голову, что должна существовать какая-нибудь неизвестная причина общей ко мне нелюбви и даже ненависти. (В то время я был твердо убежден, что все, начиная от бабушки и до Филиппа кучера, ненавидят меня и находят наслаждение в моих страданиях.) “Я, должно быть, не сын моей матери и моего отца, а несчастный сирота, подкидыш, взятый из милости”, – говорю я сам себе, и нелепая мысль эта не только доставляет мне какое-то *грустное утешение*, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мне *отрадно* думать, что я несчастен не потому, что виноват, но потому, что такова моя судьба с самого моего рождения и что участь моя похожа на участь несчастного”...

Мечты возникают с болезненной настойчивостью. Мальчик воображает себя то подкидышем, то гусарским генералом, то в гробу – и живет своим воображением, совершенно забывая, где он и кто он.

“После сорока дней, – думает он например, – душа моя улетает на небо; я вижу там что-то удивительно прекрасное, белое, прозрачное, длинное и чувствую, что это моя мать. Это что-то белое окружает, ласкает меня, но я чувствую беспокойство и как будто не узнаю ее. “Ежели это точно ты, – говорю я, – то покажись мне лучше, чтобы я мог обнять тебя”. И мне отвечает ее голос: “Здесь мы все такие, я не могу лучше обнять тебя. Разве тебе не хорошо так?” – “Нет, мне очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня, и я не могу целовать твоих рук...” – “Не надо этого, здесь и так прекрасно”, – говорит она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вместе с ней летим все выше и выше”...

Мальчик упивается мечтами до одурения и пресыщается ими. Он даже принуждает себя мечтать, чтобы только забыться и вернуть блаженные минуты опьянения. Как настоящий алкоголик, он пьет мечту, когда она уже противна ему.

Здоровые мысли и чувства не могут вырасти на этой почве. Мы можем ожидать самого худшего, и действительно мальчик скоро начинает ненавидеть своего гувернера. “Да, – рас-

сказывает он, – это было настоящее чувство ненависти, не той ненависти, про какую пишут только в романах и в какую я не верю, ненависти, которая будто бы находит наслаждение в делании зла человеку, но той ненависти, которая внушает вам непреодолимое отвращение к человеку, заслуживающему, однако, ваше уважение, делает для вас противными его волосы, шею, походку, звук голоса, все его члены, все его движения и вместе с тем какою-то непонятною силою притягивает вас к нему и с беспокойным вниманием заставляет следить за малейшими его поступками”.

Но откуда все это? Откуда такая ожесточенная ненависть, откуда столько страдания? Казалось бы, мальчику живется хорошо. Его никто не обижает и никто его не унижает, никаких лишений он не терпит; напротив, он окружен и лаской, и вниманием. Вокруг него семья, которую он любит и которая его любит. Почему же нет счастья и нет удовлетворенности, почему душа беспокойно мечется в обстановке, которая – по всей истине и справедливости – может удовлетворить любого смертного? Но капризное, неуравновешенное чувство, слишком прихотливое и требовательное, ищет чего-то большего, совершенного и вместо радости то и дело погружается в тоску и мрачное уныние. Причина такой странности заключается, кажется, в том, что гениальные натуры вообще плохо приспособляются к каким бы то ни было условиям нашего земного существования, или, как красноречиво выражается Брандес, носят “печать Каина на челе”. Они слишком нежны. Незаметный для обыкновенного смертного толчок вызывает в них боль и страдание; та же чуткость делает их непомерно требовательными и обидчивыми. Мало того, в годы детства и юности они редко бывают самими собой; минутное настроение так деспотически владеет ими, что они постоянно кого-то и что-то изображают: то страдальца, то меланхолика, то человека, презирающего все и вся. Вообразив себя тем или другим, они поступают по воображению, – обстоятельство, которое и позволяет нам понять общую характеристику, данную Толстым своему отрочеству.

“По моему мнению, – говорит он, – *несообразность* между положением человека и его моральной деятельностью есть *вернейший признак истины*”.

Как это так несообразность может служить вернейшим признаком истины? Это что-то вроде тертуллиановского “верю, потому что это бессмыслица”. Однако Толстой прав, но прав не вообще, а лишь в том случае, когда имеется в виду болезненно-чуткая и напряженно-впечатлительная натура, то есть такая, которую Достоевский метко назвал “фантастической”.

Никакого противоречия в такой психологической несообразности нет. Представьте себе на самом деле, что вы идете ночью по незнакомому лесу, идете в одиночку и чего-то ежеминутно ожидаете. Страх и ожидание делают вашу впечатлительность значительно повышенной. Вы видите так, как никогда прежде не видели в темноте, слышите так, как не слышали никогда раньше; вы как будто различаете даже шум от упавшего на землю древесного листа или шуршанье ползущего насекомого. Но эта-то чуткость, эта-то тонкость слуха и проницательность зрения и обманывают вас. Вы сознаете себя окруженным всякими ужасами, которых нет, потому что мозг ваш ежеминутно получает преувеличенные представления о внешнем мире. Чтобы красивая рука не стала безобразной в ваших глазах, не надо рассматривать ее в лупу; чтобы жизнь не оттолкнула вас от себя, не измучила бы вас, не надо слишком близко в нее всматриваться. Так говорит благоразумие, то есть последнее, чего слушаются выдающиеся натуры.

Та же болезненная чуткость вызывает и обуславливает нравственное одиночество, в котором пребывают таланты и гении. На почве этого одиночества вырастают странные мысли, странные вопросы.

“В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе моральную жизнь, – рассказывает Толстой, – все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представлялись мне, и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых

составляет высшую ступень, до которой может достигнуть ум человека, но разрешение которых не дано ему.

Раз мне пришла мысль, что счастье не зависит от внешних причин, а от нашего отношения к ним; что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив; и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя так больно по голой спине, что слезы невольно выступали на глазах.

Другой раз, вспомнив вдруг, что *смерть ожидает меня каждый час*, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, – и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников с кроновским медом, которые я покупал на последние деньги”.

Мальчик умствует в своем произвольном одиночестве, мальчик чувствует себя несчастным и начинает задумываться о смерти. Сколько отвлеченного в направлении его мысли и как мало связи между работой его мозга и впечатлениями от окружающей действительности! Но мы уже видели, что в детстве Толстому очень хотелось полетать и казалось, что это так просто: “стоит только обнять коленки покрепче руками”; и в отрочестве у него та же жажда летания, то же стремление непокорного духа отрешиться от земли и ее обыденных, будничных интересов. Мы уже предчувствуем, что он должен увлечься сомнением, и должен увлечься им прежде всего потому, что жизнь не удовлетворяет его. Страдание же истинное или выдуманное – безразлично – ведет человека к отрицанию. И само полученное им воспитание не закрепило в его голове ни одного твердого правила: он и молился-то лишь по привычке, исполняя какой-то обряд, а когда сверстник сказал ему, что не надо молиться, что смешно молиться, – он бросил это так легко, как будто сдул пушинку со своей одежды.

“Я воображал, – продолжает он свой рассказ, – что кроме меня никого и ничего не существует во всем мире, что предметы – не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают. Были минуты, что я под влиянием этой постоянной идеи доходил до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался в противоположную сторону, надеясь врасплох застать пустоту (*néant*) там, где меня не было.

Из всего этого тяжелого морального труда я не вынес ничего, кроме изворотливости ума, ослабевшей во мне силы воли и привычки к постоянному моральному анализу, уничтожив свежесть жизни и ясность рассудка”.

Разумеется, все эти мысли и мыслишки кажутся мальчику в высшей степени оригинальными и питают его гордость. С сознанием собственного достоинства и превосходства смотрит он на остальных смертных, но – “странно, – рассказывает он, – приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед каждым, и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое слово и движение”.

Таковыми-то настроениями начались университетские годы, а вместе с ними и юность.

Как мы видели раньше, Толстой несколько неожиданно поступил на факультет восточных языков, что, по-видимому, можно объяснить лишь его юношеской страстью оригинальничать и идти иной дорогой, чем идут другие, не справляясь даже о том, насколько она хороша. учился он очень неудачно, главным образом потому, что перескакивал от предмета к предмету, не зная, на чем ему остановиться. В сорок четвертом году мы видим его уже юристом, но и здесь дело не пошло. Он заинтересовался лишь на несколько месяцев лекциями профессора Мейера по государственному праву и взялся даже за самостоятельное сравнение

“Духа законов” Монтескье с “Наказом” императрицы Екатерины, увлекся этой работой, а потом вскоре остыл и к ней.

Профессор Загоскин, подробно исследовав документы, относящиеся к университетскому периоду жизни Толстого, нарисовал следующую ее картину, которую мы и резюмируем:

“Граф Лев Николаевич не последовал математическим наклонностям своих братьев; он избирает факультет восточных языков, к поступлению на который усиленно и готовился в течение 42–44 годов, а дело это было не совсем легкое, так как для вступительного экзамена нужно было иметь подготовку в арабском и турецко-татарском языках. Приближалась весна 44 года – время вступительных университетских испытаний. В это доброе старое время для юношей из богатых аристократических семей практиковалось облегченное средство для вступления под сень университетских аудиторий: среди профессоров всегда находились покровители родовитых и состоятельных аспирантов на студенчество, которые или поселялись у своих будущих экзаменаторов в качестве учеников-пансионеров, или же брали у них по их специальностям private уроки (разумеется, за приличное вознаграждение). Толстому, на беду, пришлось, однако, держать экзамен в такое время, когда только что от попечителя округа, графа Мусина-Пушкина, было получено строжайшее предложение: “малосведущих не принимать”. Несмотря на private уроки, он сбился и получил недостаточное количество единиц и двоек. Но ему разрешили дополнительные экзамены, и он был принят “по разряду арабско-турецкой словесности”. Что нашел он тут? Очень мало для ума, еще меньше для сердца. Но вероятно, что главная причина его хронических университетских неудач лежала не в курсе преподавания, не в профессорах, а во влиянии той среды, среди которой он вращался. “Это, – говорит Загоскин, – была среда, всецело проникнутая сословными предрассудками, пропитанная условными понятиями коммодорности и не находившая ничего лучшего, как воскуривать фимиам их высокопревосходительствам губернатору и губернаторше и разделять свое досужее время между картами, танцами и сплетнями, присоединяя к этим развлечениям поистине беспримерное чревоугодие. Дом тетки молодых графов Толстых, П.И. Юшковой, муж которой, кстати сказать, рекомендовал себя откровенно стихами: “граф Толстой – человек пустой, выдал дочь Полину за Юшкова-скотину”, – являлся одним из видных аристократических домов Казани. Очень естественно, что этот дом совмещал в себе все условия пустой, бессодержательной провинциальной великосветской жизни. Как тетюшка Полина Ильинична, так и окружавшие ее систематически портили юношу, ломали его хорошую от рождения натуру и развращали и его ум, и его душу, и его сердце. В братьях своих, кроме старшего, Николая, никакой нравственной поддержки он встретить не мог. Сергей Николаевич был ярким типом бонвивана, студента-франта, дамского поклонника и ловеласа, который никогда не прочь кутнуть и охотно берет от жизни все, что она способна дать ему; впоследствии он женился на цыганке из хора. Дмитрий, напротив, был ханжа и мистик, избегавший всяких удовольствий и развлечений света, ходил по всем церковным службам, постился, вел абсолютно чистую жизнь; даже попечитель округа Мусин-Пушкин вынужден был уговаривать его танцевать на вечерах тем аргументом, что царь Давид плясал перед ковчегом.

Судя по некоторым горьким строкам из “Исповеди”, Л.Н. Толстому чувствовалось нехорошо в этой обстановке. “Всякий раз, – говорит он например, – когда я пытался высказать то, что составляло самые душевные мои желания, – то, что я хочу нравственно быть хорошим, – я встречал презрение и насмешки, а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли”. “Добрая тетюшка моя, – с иронией продолжает он, – чистейшее существо, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужнею женщиной. Еще другого счастья она желала мне, того, чтобы я был

адъютантом, и лучше всего – у государя, а самого большого счастья, того, чтобы я женился на богатой девушке и чтобы у меня было как можно больше рабов”.

Примкнувши к кружку студентов-аристократов, проводя все время на балах, вечерах и пикниках, граф Толстой, разумеется, занимался очень слабо и, не выдержав переходных экзаменов на 2-й курс, перебрался попытать счастья на юридический факультет, но встретил здесь, по выражению профессора Загоскина, “нечто невообразимое”. “Факультет олицетворялся в небольшой кучке профессоров, с преобладающим немецким элементом, которые служили предметом посмешища для студентов всех факультетов и всех курсов... Вот, например, полуюродивый профессор римского права Камбек, немец, почти не знающий русского языка, который из года в год начинал свой курс крикливым диктованьем: “Рымское право! Р – большое, П – тоже большое и пунктум... Запшите это сэбэ на боке (то есть на полях)”. Диктованьем на ломаном русском языке передавал этот профессор и весь свой дальнейший курс, в котором встречались, например, такого рода перлы: “Рымлянэ ымэли своево орхиеррея, краго (профессор читал сокращенно *краго*, а не которого: так для него были переписаны лекции) называли вэрховный жэрэбэц (то есть жрец)”. Другой профессор той же эпохи, криминалист Густав Фогель, следующим образом иллюстрировал, например, несостоятельность суда присяжных: “Когда-то и где-то одна молодая дэвушка билла обвиняемая в ужаснэйшем преступлении, самым сквернэйшим образом учиненного... И ссуд присяжных оправдал ее!”

Недурен был и профессор международного права Гельмут Винтер, совершенно не знавший почти русского языка и потому читавший свои лекции по какой-то ветхой тетрадке по-французски. Он скакал в пафосе по аудитории, показывая наглядно картину вступления в 1813 году союзных государей в Париж, или картинно размахивал запачканным в табаке носовым платком, демонстрируя слушателям морские сигналы, а не то так изображал ртом, немилосердно надувая щеки, салютационную канонаду...

Лучше других были профессор Майер, Станиславский и другие, но и у них граф Толстой мало чему научился, вернее, мало чему хотел научиться”.

Разумеется, и в данном случае говорить о неспособности к труду Толстого, у которого впоследствии хватило невероятного терпения семь раз подряд переделать “Войну и мир”, а еще позже, уже под старость, изучить всех комментаторов к Евангелию, – смешно. Профессорские двойки, единицы и нули говорят нам лишь о том, что никогда настоящего интереса к университетской науке Толстой не питал и что самолюбие его в это время было направлено совсем на другое, нежели на академические лавры, получение которых и теперь-то не представляет никаких особенных трудностей для обеспеченного человека, а сорок лет тому назад было и еще того легче.

Граф Толстой в период 1843–1847 годов стремился прежде всего к тому, чтобы быть вполне приличным, корректным и даже светским молодым человеком. Он не только сам признается в этом в “Юности”, но о том же самом говорят и те, кто сидел с ним на одной скамейке. Он принадлежал к кружку “аристократов” и совершенно игнорировал “серую” братию. Поза и движения его были всегда вызывающие, выражение лица и глаз презрительное, до разговора со своими товарищами он не снисходил и держался даже обыкновения не здороваться ни с кем, приходя на лекции, и не прощаться ни с кем, уходя домой. У него была своя лошадь и свой кучер, шинель с прекрасными бобрами и презрительный вид, скрывавший за собой огромное неудовлетворенное самолюбие и болезненную застенчивость.

Симпатичного во всем этом мало, но я думаю, что в то время Толстой просто вообразил себя светским молодым человеком (чем он никогда ни позже, ни раньше не был) и поступал по воображению. Обстановка юшковского дома, многочисленные образцы для подражания из казанской “золотой” молодежи, наставления тетки и собственное неумение быть простым

и искренним с другими заставили его не только увлечься идеалом “*comme il faut*”,¹ но и утратить этот идеал. Аристократическая сдержанность и презрительность в обхождении едва ли могли нравиться ему по самому существу своему и, вероятно, доставляли ему гораздо больше неприятностей, чем удовольствия, но ведь фантастические натуры об этом не спрашивают: в известные эпохи им непременно надо играть какую-нибудь роль, убедить себя, что эта роль истинная, настоящая, и доводить свою игру до крайности, иногда до комизма.

“Мое любимое и главное подразделение людей в юности – пишет Толстой, – было на людей *comme il faut* и на *comme il ne faut pas*. Второй род подразделялся еще на людей *comme il faut* и простой народ. Людей *comme il faut* я уважал и считал достойными иметь с собой равные отношения; вторых – притворялся, что презираю, но в сущности ненавидел их, питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали, – я их презирал совершенно. *Мое comme il faut* состояло – первое и главное – в отличном французском языке и особенно в выговоре. Человек, дурно говорящий по-французски, тотчас же возбуждал во мне чувство ненависти. “Для чего же ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь?” – с ядовитой усмешкой спрашивал я его мысленно. Второе условие *comme il faut* были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье – было умение кланяться, танцевать и разговаривать; четвертое, и очень важное, было равнодушие ко всему и постоянное выражение некоторой изящной, презрительной скуки. Кроме того, у меня были общие признаки, по которым я, не говоря с человеком, решал, к какому разряду он принадлежит. Главным из этих признаков, кроме убранства комнат, перчаток, почерка, экипажа, – были *ноги*. Отношение сапог к панталонам тотчас же решало в моих глазах положение человека. Сапоги без каблука, с угловатым носком и концы панталон узкие, без штрипов, это был *простой*; сапог с узким, круглым носком и каблуком и панталоны узкие внизу, облегающие ногу, или широкие со штрипками, как балдахин стоящие над носком, – это был человек *mauvais genre*”².

Даровитые люди в период своей неуравновешенности способны выделять такие глупости, которые не под силу даже совсем глупому человеку. Это общеизвестно; но за глупостями больших даровитых людей скрывается всегда если и не что-нибудь умное, то во всяком случае глубокое. То же и в этом случае. Любопытно, что Лермонтов ощущал то же самое: и Лермонтов стыдился быть простым и искренним, и Лермонтов не хотел разговаривать с Белинским, а целыми часами весело болтал со Столыпиным и товарищами-уланами, и Лермонтов в университете держал себя вызывающе-гордо и презрительно. Дело тут прежде всего в огромности самолюбия, беспокойного и мучительного. Подчиняясь ему и внушениям юшковского дома, Толстой, повторяю, имел больше страданий, чем радости.

“Странно то, – продолжает он, – что ко мне, который имел положительную неспособность к *comme il faut*, до такой степени привилось это понятие. А может быть именно оно так сильно вросло в меня оттого, что мне стоило огромного труда приобрести это *comme il faut*. Страшно вспомнить, сколько бесценного, лучшего в жизни шестнадцатилетнего времени я потратил на приобретение этого качества. Всем, кому я подражал, все это, казалось, доставалось легко. Я с завистью смотрел на них и втихомолку работал над французским языком, над наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, над разговором, танцеваньем, над вырабатываньем в себе самом ко всему равнодушию и скуки, над ногтями, на которых я резал себе мясо ножницами, – и все-таки чувствовал, что мне еще много оставалось труда для достижения цели”...

Дрожжи старого барства удаляли Толстого (как и Лермонтова) от всего разночинного, чей напор, упрямый и не всегда особенно вежливый, он не мог не чувствовать даже в университетских стенах. Ведь он видел около себя товарищей, хотя и не наблюдавших гармонии

¹ Комильфо – приличный, соответствующий правилам светского приличия (фр.).

² *Mauvais genre* – дурной тон, неумение вести себя (фр.).

между сапогами и панталонами, но гораздо лучше учившихся, чем он, и гораздо более чем он образованных. Но искренне признать их превосходство и отнестись к ним по-человечески не позволяли старые барские дрожжи. И Толстой все глубже и глубже уходил в свою *comme il faut*'ность.

“В известную пору молодости, – говорит он, – после многих ошибок и увлечений каждый человек обыкновенно становится в необходимость деятельного участия в общественной жизни, избирает какую-нибудь отрасль труда и посвящает себя ей; но с человеком *comme il faut* это редко случается. Я знал и знаю очень, очень много людей, – старых, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если такой задастся им на том свете: “кто ты такой и что ты там делал?” – не будут в состоянии ответить иначе, как “*je fus un homme très comme il faut*”...³

Эта участь ожидала и меня”.

Мы уже видели внешнюю жизнь и времяпрепровождение молодого барича, имевшего собственную свою упряжку и собственные свои значительные карманные деньги. Толстой впоследствии с отвращением вспоминал о кутежах и пьянстве своей юности. Но, разумеется, этим не исчерпывалась его духовная жизнь, как не исчерпывалась она и заботами о панталонах и ногтях. ум продолжал деятельно работать и, как этого можно было ожидать, в прежнем скептическом направлении. Кое-что из этой работы мы знаем. Однажды за какую-то незначительную провинность Толстой вместе со своим товарищем Назарьевым попал в карцер на целые сутки. К месту заключения он явился, разумеется, в собственных дрожках, с товарищем не поздоровался и, не зная, чем занять себя, стал смотреть в окно, приказав предварительно кучеру разъезжать взад и вперед перед зданием без всякого толку и смысла. Но потом заключенные разговорились и принялись даже спорить. Назарьев рассказывает, что “вся неотразимая для меня сила сомнений его обрушилась на университет и университетскую науку вообще; “храм науки” не сходил с его языка. Оставаясь неизменно серьезным, он в таком смешном виде рисовал наших профессоров, что, при всем желании оставаться равнодушным, я хохотал как помешанный. “А между тем, – заключил Толстой, – мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесем мы из университета? Подумайте и отвечайте по совести. Что вынесем мы из этого святыща, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем мы пригодны? Кому нужны?”

Вопросы, которые ставит Толстой, очень умны и толковы и очевидно говорят нам о том, что под скорлупой *comme il faut*'ности идет неустанная работа вдумчивого духа. Особенно презрительно третировал в то время Толстой историю. “История, – говорил он, – не что иное, как собрание басен и сказок и ненужных, а подчас и безнравственных мелочей. Какой смысл в хронологии? Кому и зачем нужно знать, что первый брак Иоанна Грозного произошел в 1550 году, а четвертый – в 1572? Кому какое дело до того, что Игорь был убит древлянами, а Олег прибил свой щит на воротах Царьграда?... А обратите внимание на изложение наших историков; тут перл на перле. Прекрасный, добросердечный, полный самых благих намерений царь Иоанн IV вдруг ни с того ни с сего становится грозным, палачом, кровопийцей... Почему? Как? Откуда это?... Самодовольный историк таких вопросов не задает себе и интересуется совершенно посторонним”...

Университет, собственно, не дал Толстому ничего, да и не мог ничего дать его непокорной, не признававшей никаких рамок и укладов натуре. Он требовал всегда гораздо большего, чем ему предоставляли, отсюда недовольство, небрежность и презрение. Но жизнь дала гораздо больше. Описание “Юности” Толстой начинает словами:

“Я сказал, что дружба моя с товарищем открыла мне новый взгляд на жизнь, ее цель и отношения. Сущность этого взгляда состояла в

³ “Я был очень приличным человеком” (*фр.*).

убеждении, что назначение человека есть стремление к нравственному усовершенствованию и что усовершенствование это легко, возможно и вечно. Но до сих пор я наслаждался только открытием новых мыслей, вытекающих из этого убеждения, и составлением блестящих планов нравственной деятельной будущности; но жизнь моя шла все тем же мелочным, запутанным и праздным порядком. Те добродетельные мысли, которые мы в беседах перебирали, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли с такою свежою силой морального открытия пришли мне в голову, что я испугался, подумав о том, сколько времени я потерял даром, и тотчас же, в ту же секунду захотел прилагать эти мысли к жизни, с твердым намерением никогда уже не изменять им. И с этого времени я считаю начало юности”.

Разумеется, никаких реальных целей и никаких реальных путей к совершенствованию Толстой в то время не знал. Это было совершенствование *вообще*, куда вошел впоследствии и идеал “*comme il faut*”. По приобретенной в детстве привычке совершенство ограничилось главным образом областью мечтаний. Например:

...“С нынешнего дня я уже больше не буду смотреть на женщин. Никогда, никогда не буду ходить в девичью, даже буду стараться не проходить мимо; а через три года выйду из-под опеки и женюсь непременно... Буду делать нарочно движения как можно больше, гимнастику каждый день, так что когда мне будет двадцать пять лет, я буду сильнее Раппо. Первый день буду держать полпуда “вытянутою рукой” пять минут, на другой день двадцать один фунт, на третий день двадцать два фунта и так далее, так что, наконец, по четыре пуда в каждой руке, и так, что буду сильнее всех в дворне; и когда вдруг кто-нибудь вздумает оскорбить меня или станет отзываться непочтительно о *ней*, я возьму его так, просто, за грудь, подниму аршина на два от земли одною рукою и только подержу, чтоб почувствовал мою силу, и оставлю; но, впрочем, и это нехорошо... нет, ничего, ведь я ему зла не сделаю, а только докажу, что я...”

Вспоминая свое прошлое, юноша чувствовал подчас отвращение к самому себе и раскаяние, но раскаяние, до такой степени слитое с надеждой на счастье, что оно не имело в себе ничего печального. Ему казалось, что так

“легко и естественно оторваться от всего прошедшего, переделать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всеми ее отношениями совершенно снова, чтобы прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался в отвращении к прошедшему и старался видеть его мрачнее, чем оно было. Чем чернее был круг воспоминаний прошедшего, тем чище и светлее выдавалась из него светлая, чистая точка настоящего и разливались радужные цвета будущего. Этот-то голос раскаяния и страстного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, на людей и на мир Божий”.

Рядом со скептической появилась, как видит читатель, и еще новая, хотя и робко звучащая струна совершенствования. То кровь кипит, то сил избыток, – так как никакой ясной цели в этом совершенствовании, повторяю, не было. Хотелось быть лучше других, умнее других, сильнее других; инстинктивно хотелось коснуться той мощи, которая была вложена в глубину натуры, но не проявлялась еще наружу и дремала и грезилась, предаваясь ребяче-

ским мечтам. Хотелось власти, почестей, славы, к чему рвалось честолюбивое я, как все живое рвется к огню и свету. Хотелось женской любви и ласки, от которой юное неиспорченное существо оживает, как цветок от утренней росы. Хотелось и нравственных подвигов, хотелось самоотвержения, хотя честолюбивые инстинкты заставляли искать всегда первого места.

ГЛАВА II. РУССО И НЕХЛЮДОВЩИНА

В 1847 году, не сдав даже экзаменов на третий курс, Л.Н. Толстой, побуждаемый между прочим тем обстоятельством, что старшие братья, окончив курс, уехали из Казани, вышел из университета, так мало ему приглянувшегося, и отправился в Ясную Поляну, где прожил почти безвыездно до 1851 года. “Утро помещика” дает нам лучшую характеристику его тогдашней жизни, как “Детство”, “Отрочество” и “Юность” верно отражают в себе его жизнь до этого времени. “Я выхожу из университета, – пишет граф Толстой, – *чтоб посвятить себя жизни в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Главное зло заключается в самом бедственном, жалком положении мужиков, и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением. Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастье этих семисот человек, за которых я должен буду отвечать Богу?* Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения и честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть полезным и делать добро, когда мне открывается блестящая и ближайшая обязанность. Я пошел по совершенно особенной дороге, но которая хороша и, я чувствую, приведет меня к счастью”.

В подчеркнутых мною словах и выражениях читатель не может не заметить чего-то совершенно нового и даже внезапного. Ведь раньше о том, чтобы посвятить себя жизни в деревне, о жалком положении мужиков, о священной обязанности заботиться о счастье семисот человек не было и помину. Наоборот даже... Но на подобные внезапные и резкие перемены в настроении нам придется еще много раз натолкнуться в биографии Толстого.

Мы видели, что граф Л.Н. Толстой родился, вырос и провел свою юность в крепостнической обстановке. Девяти-десятилетним мальчиком он владел уже сотнями душ и почти половину жизни своей прожил на счет яснополянских мужиков, которые поили и кормили его и позволяли беспрепятственно переходить из одной фазы развития в другую, питать веру, страдать сомнениями, стремиться к совершенствованию и увлекаться идеалом светского молодого человека. Крестьянским трудом вспоен и вскормлен великий художественный талант земли русской, слава и гордость нашей литературы и нашего народа.

Говорю все это я без малейшей тени упрека кому и чему бы то ни было, так как кто же может быть повинен в первородном грехе русской общественной жизни. Я просто указываю на факт, пропустить который не имею ни права, ни возможности, и притом факт огромной важности. Ведь владение семистами душ и позволило развиваться беспрепятственно художественному дарованию графа Толстого, позволило ему без всякой торопливости переписать семь раз “Войну и мир” – эту грандиозную эпопею русской народной жизни, нашу “Илиаду”, все еще неоцененную и непонятую именно потому, что она слишком громадна. Право, если уж о том зашла речь, мне кажется порою, что еще 20–30 лет такой же мелкой разбросанной литературной работы, которая совершается теперь на наших глазах, – и мы будем смотреть на “Войну и мир” с таким же чувством почтительного удивления, с каким греки исторической эпохи смотрели на грандиозные постройки пеласгов и Львиные ворота, остатки стен, приписывая их титанам и сторуким гигантам. Благодаря даровому крепостному труду, русская литература за каких-нибудь полстолетия стала классической, и ничего подобного ее быстрым успехам в период между созданием “Руслана и Людмилы” и “Анной Карениной” мы не видим даже на Западе.

Я не поклонник бедности и лишений, не верю, чтобы они оказывали благоприятное воздействие на развитие творчества, и думаю, что даже громадный талант из суровой школы нищеты и лишений выносит одно зло. Когда для создания выдающегося произведения прописывается рецепт, в котором фигурируют чердак, нетопленая комната, сон вместо обеда,

голодная жена и голодные ребята, – я всегда вспоминаю слова Гете: “Истинно великое произведение может быть создано только здоровым духом”.

Но это между прочим. Перед нами стоит другой вопрос: об отношении графа Толстого к народу в годы его юности. В период увлечения *comme il faut*’ностью он, как мы видели, прямо презирал народ и мужика. Но к этому скверному чувству уже и тогда примешивался другой оттенок, неясный, робкий, но все же заметный, как заметен слабый зеленый росток побега на черной земле...

“Когда, – читаем мы в “Юности”, – на прогулках в деревне я встречал крестьян и крестьянок на работах, несмотря на то, что *простой народ не существовал для меня*, я испытывал всегда бессознательное сильное смущение и старался, чтобы они меня не видели”.

Что простой народ “не существовал для меня”, это с точки зрения дрожжей старого барства понятно, но не менее понятно и это бессознательное сильное смущение честной и правдивой натуры, честность и правдивость которой были завалены кучей мусора.

Отсюда, от этого “бессознательного сильного смущения”, до любви к мужику сначала, до преклонения перед его нравственными и жизненными идеалами впоследствии еще очень и очень далеко. Но нам, несмотря даже на неполноту относящихся сюда документов, необходимо подробно рассмотреть этот процесс сближения Толстого с мужиком и народом. Почему надо подробно рассмотреть – это всякий знает сам.

Первою ступенью было признание мужика человеком, в отношении которого у всякого есть свои нравственные обязанности. Это немного, но что делать с жизнью, где за усвоением такого элементарного правила приходится обращаться к западной просветительной литературе и философам, которые в самой приятной и изящной форме сообщали, что мужик – человек?

Полагаю, что просветительная литература оказала немалое влияние на развитие графа Толстого. Мы видели, что в университете он занимается сравнением “Наказа” и “Духа законов”; к этому же времени относится его увлечение Руссо. “Вспоминая особенности Льва Николаевича, – говорит Берс, – необходимо упомянуть об отношении его к произведениям и взглядам Ж.-Ж. Руссо. Нет сомнения, что они имели огромное влияние на его произведения. Он увлекался и зачитывался ими еще в ранней молодости” (“Воспоминания”, с. 26).

Руссо и Толстой – родственные гении. Исходная точка их рассуждений одна и та же; но я думаю, что если бы они встретились теперь с глазу на глаз, они не поняли бы друг друга. Как и о Бернардене де Сен-Пьере, авторе знаменитого когда-то проекта “вечного мира”, Руссо сказал бы о Толстом: “Он – мечтатель”...

Руссо любит природу, хотя и в этой его любви, как вообще во всяком его чувстве, есть что-то аффектированное, болезненное. Он любит природу не за нее самое, а скорее за то, что ненавидит не-природу, нашу цивилизацию, “эту громадную надстройку человеческого разума и глупости, зла и преступлений, лжи и неправды над прекрасным Божьим миром”. Руссо любит мужика, крестьянина, и опять-таки главным образом потому, что ненавидит не-крестьянина, аристократа, торгаша, чиновника.

Руссо прежде всего – обиженное сердце. В нем, в этом чутком, болезненном и гениальном человеке, за время его долгой страдальческой жизни накопилось столько зла, раздражения, ненависти, зависти, что он разучился любить, разучился быть искренним и правдивым. Его застенчивость обратилась в подозрительность и манию преследования, доброта – в аффектированную чувствительность. Его гений велик и правдив лишь в ненависти.

Он был лакеем, нищим, тружеником и никогда не знал счастья. Его молодость прошла в нищете и лишениях, старость – в изгнании. С первой своей сознательной минуты он научился бояться окружающих людей и окружающей его жизни. Он ненавидел цивилизацию и боялся ее, но понимал, что человек бессилен отказаться от прошлого и истории; он понимал, что цивилизация для нас неизбежное зло. Нигде и ни разу не сказал он, что надо

или можно вернуться к дикой или первобытной жизни. Его судьба была слишком сурова, чтобы он мог верить во всемогущество человека.

“Руссо был несомненно человеком будущего, а не прошедшего, и именно в этом направлении повлиял на европейскую мысль, поспособствовал образованию целой школы. Оставим в покое фантастичность очертаний, в которых рисовалась воображению Руссо историческая колыбель человечества. Не в этом дело. Злое слово Вольтера: “читая Руссо, так и хочется побежать на четвереньках” – это злое слово справедливо только в очень поверхностном смысле, если иметь в виду лишь живописную страстность отдельных выражений. В сущности, Руссо не отрекался ни от каких духовных и материальных благ, добытых цивилизацией, но он желал иного их распределения и направления, именно такого, в каком располагалось скудное достояние первобытного человека. Иначе говоря, Руссо отвергает не степень развития цивилизации, а ее тип и, наоборот, в первобытной жизни он ценит лишь ее тип (общее равенство), нимало не сомневаясь, что невежество, суеверие, нищета, грубость как спутники низшей ступени развития подлежат изгнанию. Задача будущего состоит, по Руссо, совсем не в том, чтобы все люди или какая-нибудь их часть бегали на четвереньках, а в сочетании первобытного типа (то есть всеобщего равенства) с высокой степенью развития”
(Н.К. Михайловский).

Таков Руссо, но не таков, как после увидим, граф Толстой. А между тем у них много общего, и в этом общем на первый план надо поставить вражду и ненависть к лицемерным формам нашей культурной жизни, где столько делается для формы, для приличия, для общественного мнения, что самому человеку и его внутренней правде не остается совершенно места. Руссо хотел, чтобы формы жизни были приспособлены к этой внутренней человеческой правде и позволяли бы ей свободно проявляться наружу. Толстой хочет отказаться от этих форм и полагает, что это возможно. Один, видя перед собой храм лжи, говорит: “Разберите его, тщательно сберегая всякий камень, гвоздь, балку, и из этого материала вам удастся, *быть может*, воздвигнуть храм правды”. Другой требует, чтобы был воздвигнут новый храм.

Как измученный несчастный человек Руссо по необходимости – скептик. Он не верит в подъем духа, он знает, что влияние прошлых пятидесяти веков сильнее влияния будущих пятидесяти лет, что этих прошлых пятидесяти веков не вычеркнешь из организма человека, из его привычек и верований. Со всем этим надо считаться, все это можно только приспособлять, переделывать, но создавать нечто новое, прямо противоположное, – это мечта, это безумный сон...

Конечно, противоречие между Руссо и Толстым развилось только впоследствии. В юности он только увлекался страстными тирадами во славу природы и простоты жизни, во славу честного труда. И это увлечение не прошло бесследно; напротив, брошенное великим женовцем зерно упало на родную почву, хотя до плодов было еще далеко. Увлекаясь Руссо, Толстой не мог уже более презирать народ, и под влиянием Руссо бессознательное и смутное смущение обратилось в желание исполнить свой нравственный долг перед крепостными семьями душами. Легко, однако, видеть, что в этих первых попытках сближения много теоретического, навязанного и мало сердца. Перечтите “Утро помещика”, заменив везде, с позволения самого автора, князя Нехлюдова графом Толстым.

Сюжет прост и вразумителен:

Доживши до девятнадцати лет и дойдя до третьего курса университета, граф Л. Толстой убеждается в том, что он достаточно образован и что ему давно пора приниматься за практическую деятельность. Он приезжает на лето в свое имение, видит там, что мужики его разорены дотла, и, решившись посвятить свою жизнь на улучшение их участи, выходит из университета с тем, чтобы навсегда поселиться в деревне. Толстой занимается своим делом бескорыстно, добросовестно и очень усердно. По воскресеньям, например, он обходит утром дворы тех крестьян, которые обращались к нему с просьбами о каком-нибудь вспомоществовании; тут он внимательно вникает в их нужды, присматривается к их быту, помогает им хлебом, лесом, деньгами и старается посредством увещаний внушать им любовь к труду или искоренять их пороки.

Один из таких обходов составляет сюжет нашей повести. Приходит Л. Толстой к Ивану Чурисенку, просившему себе каких-то кольев или сошек для того, чтобы подпереть свой развалившийся двор. Видит Толстой, что строение действительно никуда не годится, и Чурисенко рассказывает ему совершенно равнодушно, что у него в избе накатина с потолка его бабу пришибла. «По спине как колыхнет ее, так она до ночи замертво пролежала». Толстой, думая облагодетельствовать Чурисенка, предлагает ему переселиться на новый хутор, в новую каменную избу, только что выстроенную по герардовской системе. «Я, — говорит, — ее, пожалуй, тебе отдам в долг за свою цену; ты когда-нибудь отдашь». Но Чурисенко говорит: «Воля вашего сиятельства», и в то же время прибавляет, что на новом месте им жить не приходится; а баба, та самая, что замертво лежала, бросается в ноги молодому помещику, начинает выть и умолять барина оставить их на старом месте, в старой развалившейся и опасной избе. Чурисенко, тихий и неговорливый, как большая часть наших крестьян, придавленных бедностью и непосильным трудом, становится даже красноречивым, когда начинает описывать прелесть старого места. «Здесь на миру место, место веселое, обычное; и дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли поить, — и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы — вот, что мои родители садили; и дед, и батюшка наши здесь Богу душу отдали, и мне только бы век тут свой кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу». Что тут будешь делать? Нельзя же облагодетельствовать насильно. Толстой отказывается от своего намерения и советует Чурисенку обратиться к крестьянскому миру с просьбой о лесе, необходимом для починки двора. К миру, а не к помещику приходится обращаться в этом случае потому, что Толстой отдал в полное распоряжение самих мужиков тот участок леса, который он определил на починку крестьянского строения. Но у Чурисенка на всякое дело есть свои собственные взгляды, и он говорит очень спокойно, что у мира просить не станет. Толстой дает ему денег на покупку коровы и идет дальше. Входит он во двор к Епифану, или Юхванке-Мудреному. Толстому известно, что этот мужик любит по-своему сибаритствовать, курить трубку, обременяет свою старуху мать тяжелой работой и часто продает для кутежа необходимые принадлежности своего хозяйства. Теперь Толстой узнал, что Юхванка хочет продать лошадь; помещик хочет посмотреть, возможна ли эта продажа без расстройств необходимых работ. Оказывается, что продавать не следует, и Толстой решительно запрещает Юхванке эту коммерческую операцию. Юхванка в разговоре с барином лжет ему в глаза самым наглейшим образом и несколько не смущается, когда Толстой на каждом шагу выводит его на свежую воду. Толстой как юноша и моралист старается растрогать юхванкину душу увещаниями и упреками, а Юхванка, продувная бестия, каждым своим словом показывает своему барину совершенно ясно, что он непременно расхохотался бы над его советами, если бы его не удерживало тонкое понимание галантерейного обращения. «Пороть меня ты не будешь, — думает Юхванка, — потому что совсем никого не порешь; на поселение тоже не сошлешь, пожалеешь; а в солдаты я не гожусь, спереди двух зубов нету. Значит, ничем ты меня не озадачишь, и на все твои разговоры я вежливым манером плевать намерен». И Толстой, совершенно отменивший в своем хозяйстве телесные

наказания, до такой степени живо чувствует свое бессилие перед сорванцом Юхванкой, что принужден по временам умолкать и стискивать зубы для того, чтобы не расплакаться тут же на юхванкином дворе перед глазами нераскаянного грешника. Кончается визит тем, что барин, строго запретив продавать лошадь, тайком от беспутного Юхванки дает денег его матери на покупку хлеба.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.